
П. В. Анненков



*Пушкин
в Александровскую эпоху*



МИНСК «ЛИМАРИУС» 1998

УДК 947.0:82.09+929 Пушкин
ББК 63.3(2)
А 68

Серия «Старый пушкинист» основана в 1997 г.

Председатель редакционного совета серии И. Е. Егоров
Составитель серии А. И. Гарусов
Оформление серии Г. И. Мацур

Тексты работ П. В. Анненкова печатаются по изданиям:

1. Анненков П. В. «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» — Спб., 1874.
2. Анненков П. В. «Общественные идеалы Пушкина» // Вестник Европы. — 1880, №6 — Стр. 595—637.
3. Анненков П. В. «К истории работ над Пушкиным» // П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка. — Спб., 1892 — Стр. 383—485.

Анненков П. В.

А 68 Пушкин в Александровскую эпоху / Сост. А. И. Гарусов.
— Мн.: «Лимариус», 1998. — 360 с.

ISBN 985-6300-04-5

ББК 63.3(2)+84(2)

ISBN 985-6300-04-5

© «Лимариус», 1998.
© И. В. Егоров, вступительная статья, 1998.
© А. И. Гарусов, составление, 1998.
© Г. И. Мацур, оформление, 1998.



Общественные идеалы
А. С. Пушкина.

Из последних лет жизни поэта.

Чрезвычайно важно для понимания различных эпох русской жизни определение нравственной сущности тех или других политических и общественных взглядов и убеждений, которыми были проникнуты главные деятели эпохи, приковывавшие к себе внимание своих современников. При этом вся трудность для исследователя заключается преимущественно в том, что русские образованные люди, судя по общему характеру их жизни, как будто мало отличались друг от друга, исповедывали как будто одни и те же политические идеи, говорили почти одно и то же, как в области знания, так и на публичной арене литературы, занимались почти одними и теми же, не очень сложными и разнообразными предметами. Со всем тем, позднейшие монографии и биографические изыскания показали, что многие из таких деятелей, кроме своего участия в общем хоре, где дружно исполняли роль, случайно выпавшую на их долю, еще имели свои затаенные воззрения на положение дел, свои правила морали, отличные от тех, которые требовались общим голосом, свою критическую оценку окружающего мира... Никогда и ни в какие, даже наиболее тихие, строго организованные эпохи, не прекращалась у нас внутренняя деятельность общественного сознания, разработка новых жизненных идеалов, параллельно с существующими налицо, не исчезало личное, самостоятельное творчество в способе понимания и представления явлений русской истории, любимых идей, обычаев и увлечений современности. А.С. Пушкин точно также имел свою домашнюю, секретную теорию разумного гражданского существования, как и учителя его — Карамзин и Жуковский, но с тою разницей, что последние пользовались возможностью доводить свои теории до сведения официального мира, между тем как Пушкинские

теории, которые он обдумывал долгое время, должны были остаться при нем одним, и притом в необделанном, разбросанном, почти бесвязном виде. Много было уже у нас попыток добраться до смысла истинных политических и общественных убеждений Пушкина с помощью самых его произведений и тех выводов, какие они представляют, — но все-таки приговоры, основанные на этом критическом разборе, не могут иметь достоверности личных показаний и признаний автора. Всего чаще, подобные приговоры не принимают в соображение случайности поэтического настроения, которым иногда выражается не подлинная мысль автора, а только мысль, навеянная ему сюжетом, содержанием его образа или его фантазии. Подлинная мысль человека обретается преимущественно в его беседах с самим собою, наедине со своей совестью, при кабинетной поверке с глазами-глаз всего своего умственного достояния. Между всеми остатками такой литературной деятельности А. С. Пушкина, особенно печатью подлинной его мысли помечены черновые планы полемических статей, заготавливаемых поэтом для «Литературной Газеты» барона А. А. Дельвига 1830 года, а затем отзывы и суждения Пушкина при перечне указов и событий времен Петра I-го, за историю которого он принялся в 1832 году, по поручению правительства. Передачей этой *подлинной мысли* Пушкина в области политических и общественных вопросов мы теперь и займемся, не отказываясь, впрочем, и от задачи уследить ее более или менее далекое отражение и на некоторых литературных и поэтических его произведениях; вообще основная мысль Пушкина сохранилась, в его бумагах, в форме набросков, недоговоренных положений и отрывков, соединить которые в нечто целое и однородное представляло не маловажное затруднение и потребовало особенного труда и усилий.

I.

Настоящая цель издания «Литературной Газеты» 1830 — 31 г. заключалась, как известно, преимущественно в том, чтобы образовать какой-либо оплот против журнальной монополии, захваченной издателями «Сев. Пчелы» и «Сына Отечества», благодаря жалкой беспомощности самих писателей и апатическому характеру всего литературного мира. Монополия эта, как всегда бывает, тщательно наблюдала за тем, чтобы сохранить свое привилегированное положение всякими позволительными и непозволительными средствами. Оставляя в стороне все ее *негласные* старания представить себя как

единственную охранительницу интересов порядка и благочиний — достаточно упомянуть об орудиях, какие она употребляла, чтобы держать в страхе перед собой печать и пишущих. Орудиями этими служили, во-первых, безустанное преследование писателей *независимых*, но еще не составивших себе имени; лезть и искательство перед знаменитостями, если они обнаруживали расположение покрывать своим молчанием заведенный порядок дел, — и наоборот — ругательства, клевета, позорные намеки всякого рода, если они теряли терпение и поднимали голос, а затем необычайное снисхождение, покровительство и жаркая рекомендация всякому ничтожеству и посредственности, которые становились добровольно под иго монополии и в ней искали залогов успеха и упроченного положения в печати. Монополия торжествовала. Благодаря заведенному ею террору в литературном мире, полному равнодушию образованного общества к делам печати, и согласию, полученному ею, где следует, на предоставление простора в приложении дисциплинарных мер к непокорным умам, — она превратила почти весь тогдашний, немногочисленный персонал русских писателей в льстецов, клеветников и агентов своих корыстных целей. К сожалению, издатель «Московского Телеграфа», который мог бы образовать относительно довольно сильную, самостоятельную и противодействующую ей партию, тоже вошел в ее интересы и пристроился к ней, напуганный, вероятно, московской оппозицией своему журналу, сильно обнаружившейся при появлении соперничающего «Московского вестника», 1827 г., а еще — вероятнее, по расчету обезоружить одного из членов монополии, Ф.В. Булгарина, — это типическое лицо своего времени, пользовавшееся доверием некоторых правительственных лиц, несмотря на то, что постоянно вводило их в ошибки своими сообщениями. Горький опыт показал Н.А. Полевому, как неверен был его расчет.

Ко всему этому следует еще присоединить первое появление у нас памфлетической литературы. С альманахами — «Северный Меркурий» 1829 г. и «Северная Звезда» 1830 — 32, издания М.А. Бестужева-Рюмина — на свет впервые выступал *низший* род журнальной quasi-демократии, руководимый враждебным чувством ко всем приобретенным литературным положениям. Бестужев-Рюмин отличал своего рода цепкостью, не связан был понятиями о приличии и достоинстве своих суждений и представлял ранний, хотя еще и тусклый образец бойца, который старается смелостью и наглостью выйти из толпы, где его удерживают отсутствие таланта и образования. Так, в одном из своих изданий Бестужев-Рюмин развязно напе-

чтал несколько рукописных лицейских стихотворений Пушкина, без ведома автора, всегда боявшегося подобных нескромностей, и под одними литерами «Ап». Пушкин даже и не протестовал, наученный еще прежде опытом, что литературная собственность не признается в его отечестве. В 1827 г. чиновник при Третьем Отделении, статский советник Ольдекоп, перевел на немецкий язык его «Кавказского пленника», и выпустил в свет с полным русским текстом *en regard*, что равнялось новому, самовольному изданию поэмы. Все усилия Пушкина — добиться защиты своих прав, обращавшегося за этим к ближайшему начальству смелого переводчика — остались безуспешны. Оскорбленный автор, махнув рукой, тогда же и сказал: «Ну, и черт с ним, если на него нет суда».

В таком виде и с такими нравами и обычаями влачила свои дни журналистика и печать русская к началу 1830 г.

Понятно, после того, заявление, сделанное «Литературной Газетой», на первых же порах, о своем намерении поднять литературную критику из ее прискорбного состояния и предоставить поле деятельности для *писателей, которые не могут участвовать ни в одном из Петербургских и Московских журналов*. Заявление было написано Пушкиным и содержало правдивый факт. После прекращения «Московского Вестника», целая группа, и самая значительная, — литераторов, в которой числились такие лица, как В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, князь П.А. Вяземский, И.А. Крылов, П.А. Катенин, и наконец, сам Пушкин, — действительно не имела органа. Группе этой именно и принадлежит как первая мысль об основании газеты, так и выбор редактора для нее. По общему соглашению, в редакторы был призван А.А. Дельвиг, пользовавшийся репутацией очень тонкого критика и имевший за собой преимущество почти безотлучного пребывания в Петербурге. Правда, все эти основатели газеты помогали ей впоследствии более советами, чем произведениями своими, за исключением одного И.А. Крылова, давшего ей значительный вклад новых басен своих; а между тем совокупные их усилия были бы совершенно необходимы для того, чтобы бороться с такими опытными и изворотливыми врагами, какие поджидали новый журнал. Душой его сделался Пушкин. Он принял на себя важнейшую, полемическую часть газеты и повел ее, как увидим, с таким пылом и в таком решительном, беспощадном тоне, какой до того еще и не был знаком в нашей литературе. Монополия тотчас же распознала грозившую ей опасность и для отвращения ее собрала все свои силы литературные, а также и те, которыми располагала *вне* литературы.

Вспомоществуемая в то же время памфлетическими выходками Бестужевской школы, она очень искусно перенесла вопрос о причинах появления нового журнала на политическую почву, назвав издателей и сторонников «Литературной Газеты» — кружком людей, желающих выделиться из общего положения, существующего для литераторов, и стать особняком, образовать партию знаменитостей, водворить «принцип аристократизма» там, где его быть не может, и направлять общественную мысль, в смысле этого принципа. Этот опасный, при тогдашнем режиме, намек и дерзкий вызов, брошенные монополией в таком виде, были подняты «Литературной Газетой», или, лучше, ее вдохновителем, Пушкиным — с необычайной энергией. Теперь уже вполне известно, что именно Пушкин был отчасти составителем, а отчасти внушителем всех тех многочисленных полемических заметок, в которых участие избранного круга людей в делах общества и литературы объявлялось желательным и в то время необходимым для поднятия строя жизни и уровня мысли в государстве. В противоположность с задачами и целями, какие может иметь подобный избранный круг, публицист «Литературной Газеты» поставлял на вид задачи какого-нибудь проходимца-литератора, в роде Видока, — и действительно, статья Пушкина о записках этого сыщика, в № 20 «Литературной Газеты», нанесла чувствительный удар Булгарину, как нравственной личности. Далее, тот же публицист клеймил ядовитыми эпиграммами врагов всякой умственной и моральной возвышенности в людях, как признака аристократизма (ср. эпиграмму Пушкина на того же Булгарина), и наконец в пресловутой статейке, наделавшей много шума и не мало бед самому издателю «Газеты» (и она тоже принадлежит Пушкину), дошел до замечания, что неумолкаемые нападки журналов Булгаринского пошиба на аристократию могут кончиться тем, чем они кончились в другой стране — криками черни: «les aristocrates à la lanterne», и припевом «ça ira». Статьи еще добавляла свою выходку восклицанием: «avis au lecteur!»

Враги Пушкина и вся Булгаринская партия поздно тогда спохватились, что сделали ошибку, затронув его и приложив к нему свой инсинуационный способ борьбы: Пушкин встретил их на той самой почве, где они считали себя непобедимыми, и дал почувствовать, что оружие инсинуации может быть обращено и против них самих. Испуг, произведенный заметкой Пушкина в Булгаринском лагере монополистов, был понятен: она наносила удар их официальной репутации — благонадежности; но, бросая ее в таком резком виде, Пушкин

надеялся, что она вызовет столь же резкий ответ — и тем даст повод к начатию серьезной, *принципальной* полемики.

Ничего подобного не случилось. Враждебная партия нисколько не была расположена затрагивать основы своих или чужих мнений и предпочла ограничиться горячими протестами против злонамеренного вывода, сделанного из ее слов, и скрыться под покровительство общих цензурных законов. Но Пушкин уже не хотел оставить ее спокойно предаваться, по прежнему, безмятежному удовольствию вести простую диффаматорскую игру вокруг имен и личностей, после того, как уже был поднят вопрос о направлениях и следовало выразить свое отношение к ним. Он принялся за объяснение и распространение первоначальной заметки, в форме разговора между двумя лицами: А. и Б., в котором уже излагал отчасти свое воззрение на явления, носившие названия русской аристократии и демократии. Разговор предназначался им тоже для «Литературной Газеты», в чем можно убедиться и по некоторым его приемам и несколько осторожному тону изложения; но Пушкин в этом случае слишком понадеялся на выносливость печати и рассчитывал на публикацию, не договорившись, по французскому выражению, предварительно с хозяином. Было найдено, что весь этот литературный спор зашел уже слишком далеко и затронул стороны жизни, не подлежащие его ведению, и после должных внушений обеими сторонами, дальнейшее его развитие делалось более невозможным. «Разговор так и остался в бумагах Пушкина в том необделанном еще виде, в каком мы здесь и приводим его:¹

«А. Читал ты замечание в «Литературной Газете», где сравнивают наших журналистов с демократическими писателями XVIII-го столетия? — Б. Читал. — А. Как же ты его находишь? — Б. Довольно неуместным². — А. Конечно — иначе нельзя и думать. Как

¹ Для библиографов и для будущего истинно-полного собрания сочинений Пушкина, мы можем еще привести заметки его, появившиеся в смеси «Литературной Газеты» и не попавшие ни в один из сборников его творений. Таковы: №10, стр. 98 — о князе Вяземском; №12, стр. 98 — о карикатуре в Англии, которая содержит намек на Н.А. Полевого; №16, стр. 129 — о гекзаметрах Мерзлякова, в сравнении с гекзаметрами Дельвига; №20, стр. 162 — ответ критику, объявившему при разборе одного литературного сборника, что нет причин сожалеть об отсутствии в нем знаменитых писателей; №36, стр. 293 — вторая заметка о неблагоприятности нападков на дворянство.

² Этот Б., как выразитель Пушкинских мнений, имеет ввиду еще и литературную полицию, также встревоженную резкой заметкой.

не стыдно литераторам обижать таким образом свою братию!.. — Б. Согласен. — А. Русские журналисты не заслуживали такого презрительного сравнения. — Б. А! так извини: я с тобою не согласен. — А. как так? — Б. Я было тебя не понял. Мне показалось, что ты находишь обиженными демократических писателей XVIII столетия, которых с нашими никаким образом сравнивать нельзя. Томас, Дюкло, Шамфор — были столь же умные, как и честные люди — не беспримерные гении, но литераторы с отличным талантом. — А. В «Литературной Газете» сказано, что эпиграммы их приготовили крики à la lanterne! Неужто в самом деле эпиграммы произвели французскую революцию? — Б. О французской революции «Литературная Газета» молчит — и хорошо делает. — А. Помилуй, да посмотри — les aristocrates à la lanterne, ça ira, и т. д. — Б. И ты тут видишь французскую революцию? — А. А ты что тут видишь, если смею спросить? — Б. Один жалкий эпизод французской революции — гадкую фарсу в огромной драме. — А. Так видно — ты стоишь за «Литературную Газету». Давно ль ты сделался аристократом? — Б. Как, аристократом? Что такое аристократ! — А. Что такое аристократ? О, да ты журналов не читаешь. Вот видишь ли: издатель «Литературной Газеты» и сотрудники его, и читатели его — все аристократы! — Б. Воля твоя, я смысла тут не вижу. Будучи сам литератором, я читаю «Литературную Газету», ибо мне любопытно знать ее мнения: мне досадно видеть в ней иногда личности и колкости, ответы, возражения, мелочную войну, которую не худо предоставить литературным башкирцам; но никогда не видал я в «Литературной Газете» ни дворянской спеси, ни гонения на прочие сословия. Дворяне ли барон Дельвиг, князь Вяземский, Пушкин, Баратынский — мне до этого дела нет. Они об этом не толкуют. Заступаясь за грамотное купечество, в лице г. Полевого — они сделали хорошо; заступаясь ныне за просвещенное дворянство — они сделали еще лучше. — А. А что значит: avis au lecteur! К кому это относится? Ты скажешь — к журналистам, а я так думаю — не к цензуре ли? — Б. Да хоть бы и к цензуре — что за беда?.. Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждого сословия, но смеяться над сословием, потому только, что оно такое сословие, а не другое — не хорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападают? Ведь не новое дворянство, получившее свое начало при императоре Петре I и императрицах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократию. Pas si bête! Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности;

они нападают именно на старинное дворянство, которое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, к которому принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) не хорошо и даже неблагоразумно. — А. Почему же статья «Литературной Газеты» оказалась неблагонамеренной многим? — Б. Потому, что политические вопросы никогда не были у нас разбираемы. Журналы наши, не нарочно наступив на один из таковых вопросов, сами испугались движения, ими произведенного. Демократические наши журналы (в прямом или переносном смысле), нападая на дворянство, должны были найти отпор и нашли его в «Газете». Все это естественно, даже утешительно, но, повторяю, вопросы политические для нас еще новость. Знаешь ли что? Мне хочется разговор наш передать издателю «Литературной Газеты» — чтоб он напечатал его себе в оправданье. — А. И хорошо сделаешь. Есть обвинения, которые не должны быть оставлены без внимания, от кого бы они, впрочем, ни происходили. Повредить замечанием нельзя. Образ мнения почтенных издателей «Северной Пчелы» — *слишком хорошо* известен, и «Литературная Газета» повредить им не может, а г. Полевой, в их компании и под их покровительством, может быть тоже безопасен».

В этом отрывке есть небольшая тирада, уже однажды нами приведенная («Пушкин в Александровскую эпоху»), о нападках журналистики преимущественно на остатки старых дворянских родов, лишенных всякого политического значения, но мы предпочли, вместо опущения ее — повторить теперь на том месте, где ее встретили в первый раз.

Когда, вследствие запрещения, оказалось невозможным продолжать спор в том полемическом тоне, какой он принял с самого начала, Пушкин перешел к мысли возобновить его в более спокойной, объективной форме руководящих статей и трактатов, которые могли бы найти уже безопасный приют в той же «Литературной Газете» и сообщить ей общественно-политический оттенок. На душе его лежало: — с одной стороны, объяснить роль либеральной, прогрессивной, патриотической аристократии в государствах, которые ею обладают, а с другой — открыть в современной литературе эру разработки политических вопросов, как некогда сделал это Карамзин для своей эпохи в своем журнале «Вестник Европы» (1802 — 1803 г.г.). Пуш-

кин принялся набрасывать программы и конспекты для статей *с направлением*, — но откуда намечал он существенные черты и ходы будущей своей работы, сама «Литературная Газета» была приостановлена. Поводом к этой мере послужило несколько переводных стишков из воззвания Казимира Делавиня к бойцам июльского переворота, тогда прогремевшего во Франции и попавших в газету совершенно случайно, как дополнение печатной страницы, и при том всего более за свою форму, так как сочувствие к историческому факту, который упоминался в стихах — ни Дельвиг и никто из литераторов не могли питать по той простой причине, которую разделяли со всем нашим обществом того времени: они не имели вовсе никакого мнения о нем. Распоряжение это однако же сопровождалось печальными последствиями для Дельвига. Он призван был к ответу генералом Бенкендорфом, и при этом вытерпел такую бурю подозрений, угроз и оскорблений, что она потрясла физический и нравственный его организм. Он заперся в своем доме, завел карты, дотеле не виденные в нем, никуда не показывался и никого не принимал, кроме своих близких. Под действием такого образа жизни и глубоко-почувствованного огорчения можно было опасаться что первая серьезная болезнь унесет все его силы. Так и случилось — болезнь не заставила себя ждать и быстро свела его в могилу (14 января 1830 г.). «Литературная Газета», однако же, после довольно долгого перерыва явилась опять на свет, под редакцией известного тогда составителя бесцветных «обзрений Русской Словесности» для альманахов — Ореста Сомова, и в руках его продолжала еще существовать некоторое время, никем уже более не тревожимая, но и никому ненужная. Пушкин отложил в сторону все планы статей для журнала, перестал думать о них, и наконец, позабыл вовсе об их существовании...

Но они стоят того, чтобы вывести их из забвения, на которое были обречены. Как еще ни бессвязны, ни сжаты и лаконичны все эти проекты неосуществленного труда, потребовавшие от нас объяснений гораздо более пространных, чем они сами; как ни кажутся с первого вида многие из тезисов, тут приведенных, резко парадоксальными и неумеренно-горячими по выражению (недостатки, которые вероятно были бы сглажены или обойдены при обработке их), — но в своей совокупности эти программы автора представляют довольно ясно и отчетливо существенные черты и коренные основания полной политической теории, законченного учения, цельного исторического созерцания. Оно нажито было Пушкиным долгими размыш-

лениями о способе выяснить себе современное ему положение общества, найти точку отправления для своей мысли, и всего более созрело в беседах с людьми, занимавшимися теми же поисками за отчетливым определением своей эпохи в прошлое царствование. Вот, почему теория Пушкина, как она создается из сложения и восстановления всех отрывков, оставшихся после нее, имеет двоякое значение: во-первых, как верное отражение весьма любопытной и важной стороны Александровской эпохи, которой Пушкин был верным представителем, и во-вторых, как документ, далеко не лишенный интереса для занимающихся историей идей, которые в разное время посещали умы нашего образованного общества. Между прочим, мы убеждены, что известный, глубоко сочувственный, почти восторженный отзыв Мицкевича о «политическом» смысле Пушкина возник преимущественно из знакомства с основными чертами этой самой теории, которая уже давно народилась и созрела в голове ее автора. Приводим, по порядку, первый образчик Пушкинских программ:

«Что такое потомственное дворянство? — Сословие народа высшее, т.е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. — Кем? — Народом, или его представителями. — С какою целью? — С целью иметь мощных защитников (народа), или близких и непосредственных к властям представителей. — Какие люди составляют сие сословие? — Люди, которые имеют время заниматься чужими делами. — Кто сии люди? — Отменные по своему богатству или образу жизни. — Почему так? — Богатство доставляет способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву *du souverain*. Образ жизни, т.е. не ремесленный или земледельческий, ибо все сие налагает на работника или земледельца различные узы. — Почему так? — Земледелец зависит от земли, им обработанной, и более всех неволен; ремесленник — от числа требователей торговых, от мастеров и покупателей. — Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? — Нужно. — Чему учится дворянство? — Независимости, храбрости, благородству, *чести* вообще. — Не суть ли сии качества природные? — Так, но образ жизни может их развить, усилить или задушить. — Нужны ли они в народе, также, как, например, трудолюбие? — Нужны, и дворянство — *la sauve-garde* трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».

К этим, едва намеченным мыслям и во многих местах не вполне дописанным фразам есть еще у Пушкина дополнение, которое мо-

жет служить им и комментарием. Оно состоит также из вопросов и ответов:

«Что составляет дворянство в республике? — Богатые люди, которыми народ кормится. — А в государстве? — Военные люди, которые составляют войско государево. — Чем *кончается* (погибает) дворянство в республике? — Аристократией прав. — А в государстве? — Рабством народа. А=В».

Как ни лаконичны по своей форме все эти заметки, но, повторяем, смысл их кажется нам вполне ясным. Не видя возможности для крепостного тогда народа, ни способности в нем — самому заботиться о своей участи, и возлагая на дворянство историческую миссию служить ему опорой и защитой — Пушкин ставит и необходимые условия для подобной деятельности. Она «кончается» — говорит он — а с ней и государственное значение сословия, если оптиматы в республиканских обществах соберутся в одну эгоистическую замкнутую касту («аристократия прав»), или когда при других формах правления благосостояние и влияние дворянства будет создаваться — независимо или даже в противоположность процветанию всего народа.

Естественно, что придавая такое народовоспитательное и политическое значение потомственному независимому дворянству в государстве, Пушкин должен был считать все факты и явления русской истории, помешавшие развитию у нас боярского института и не позволившие ему исполнить свое историческое призвание — фактами и явлениями в высшей степени печальными. Так, он сожалел об отмене местничества и уничтожении разрядов, что, по его мнению, произошло совсем не из видов настоятельной, государственной потребности, а из домогательства и соперничества мелких дворянских родов, завистливо смотревших на привилегии старших своих собратьев, да и тут еще Пушкин не признавал «сборный приговор» при царе Феодоре окончательным устранением местничества. Оно еще довольно долго существовало, по его мнению, и после того, и все разрядные списки, хотя и сожженные официально, управляли еще деловым русским миром и жили всецело в памяти людей, вплоть до Петра I, окончательно похоронившего их *табелью о рангах*. В этом смысле, личность Петра I, создавшего такую полную систему подчинения всех свободных людей, всякого чина и звания, одной безответной службе государству, где они и *сравнились* — являлась Пушкину,

как личность, по преимуществу, революционная, и порядок, ею водворенный на Руси, революционным. «Пора кончить революцию в России!» — восклицает он в разных местах своей переписки с друзьями, а кончить ее иначе нельзя, по его воззрению, как созданием в лице имущественно и политически самостоятельного дворянства — сильного оплота против озлобленного класса выходцев из народа с одной стороны, и помещичьей склонности — придерживаться азиатских порядков существования и в них искать своего спасения — с другой. Обе эти тенденции представляли для него совершенно одинаковые величины: $A=B$, — употребляем его формулу. «Наследственные преимущества — говорил он — высших классов общества суть условия их независимости. В противном случае, классы эти становятся наемниками и несут их обязанности».

Как еще ни благовоел Пушкин перед цивилизаторской деятельностью Петра I, но некоторые из его внутренних по государству распоряжков имели силу возбуждать в нем горькое чувство сомнения, что отразилось и в предварительных очерках истории Петра I, за которую он принялся в 1832 году, — но об этом скажем подробнее ниже. Покамест он смотрел на Петра единственно как на безжалостного истребителя единственного сословия, которое еще могло умерять его порывы и увлечения. Он называл его соединением Робеспьера и Наполеона, — в одном лице воплощением всей революции.

«Вот уже 150 лет, — восклицал он, — что «Табель о рангах» сметает дворянство в одну кучу (que la «Табель о рангах» balaye la noblesse), а затем уничтожение майоратства хитростным (плутовским, употребляя его термин) образом при Анне Ивановне и довершило падение передового класса, начатое «Табелью». — Что из этого следует, — прибавлял Пушкин: — восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.» Пушкин до того сроднился со своим представлением о революционном характере многих мероприятий Петра и других, за ним последовавших, в том же духе, что рассказывает сам в «Записках» своих, как однажды и гораздо позднее описываемой эпохи посетив однажды покойного великого князя Михаила Павловича, сказал ему в глаза на расставании: — Je connais bien votre famille. Les R* — ont été de tout temps révolutionnaires». «Спасибо, — отвечал шутя великий князь, — что наградил новым качеством: нам его не доставало».

В том же порядке идей и под влиянием тех же представлений шли у Пушкина и исторические исследования допетровской стари-

ны, ближайшим поводом к которым было появление «Истории русского народа», Полевого. В другом месте (см. «Материалы для биографии Пушкина», 1855 года) указаны были образцы этих набегов на русскую историю, под руководством предвзятой мысли и *априористического* метода заниматься ее вопросами, который, как видно и из предшествующих выписок, вошел у него в обычай; этим Пушкин опять связывался с Александровской эпохой, не знавшей другого метода исследования. «История» Полевого, вдобавок, открывала еще к нему и широкую дорогу, будучи сама собранием догадок, более или менее спорных, и попыткой отыскать ключ к уразумению летописных русских данных в трудах западных писателей, объяснявших летописи других народов. Особенно первые тома этой «Истории» представляли массу фальшивых аналогий между фактами западного происхождения и явлениями русского мира, которых сводить вместе было любимым упражнением автора. При кропотливости университетской официальной исторической науки, которая заменила торжественность и самоуверенность прежней Карамзинской школы перечетом летописных сказаний и повторением буквального их смысла, не заботясь о своеобразной племенной народной жизни, за ними скрывавшейся, — «История» Полевого должна была показаться дерзостью. Составитель ее, однако же, предчувствовал, как теперь уже почти всеми признано, некоторые из задач будущего русского историка, но для обработки их ему не доставало научной подготовки и первых необходимых сведений об особенностях славянской культуры, об идеях и представлениях, управлявших славянским миром и определивших его судьбу и развитие. Иначе и быть не могло: важнейшие исследования, осветившие и выдвинувшие на первый план все эти вопросы явились гораздо позднее. Весьма понятно, что присяжные ученые отнеслись к труду Полевого в резких статьях своих со злобой и презрением напрасно потревоженных людей, но гораздо труднее понять — почему вознегодовали на него дилетанты исторической науки, которых тогда было много в обществе, и которые не менее критикуемого автора обладали произвольными взглядами на прошлое Руси, почерпнутыми отовсюду, кроме изучения предмета. Тайна объясняется тем, что построение гипотез всегда у них имело в виду коронование русской истории самыми дорогими (и в сущности вовсе ненужными) венцами, а у Полевого сопровождалось скептическими замашками... Фантазия с отрицающим характером казалась уже нестерпимой. Пушкин тоже восстал против нее.

Известно, что он напечатал в «Литературной Газете» критичес-

кую статью об «Истории» Полевого, тотчас по выходе ее 1-го тома. За ней должна была следовать другая, приготовления к которой остались в его бумагах. Все та же главная, господствующая тема его созерцания управляет и здесь его суждениями, просвечивая сквозь все полемические приемы и возражения, и обнаруживая себя даже и там, где, казалось, сословному вопросу не могло быть и места. Предлогом для ввода последнего в исследование московского периода нашей истории послужил взгляд Полевого на удельную систему, как на проявление в русской форме западного феодализма. Пушкин приступил тотчас же к опровержению этого мнения, и в отрывке, приведенном нами прежде (в «Материалах для биографии Пушкина», 1855), старался собрать данные для показания несостоятельности такого предположения. В этом отрывке, направленном против мысли Полевого, Пушкин, противопоставлял феодализму институт боярства, который ничего общего с первым не имел, и он восходил из этого противопоставления до определения разницы в духе и характере западных и русских «средних веков». Содержание и мысль этого отрывка Пушкин именно и собирался превратить во вторую статью об «Истории» Полевого. Здесь мы дополняем отрывок только одной небольшой, но очень характерной заметкой автора, не попавшей в свое время в печать, отсылая читателя за полным содержанием программы к «Материалам» 1855 года. Опровергая Полевого, Пушкин, как оказывается и по другим источникам, еще сожалел об отсутствии в нашей истории такого явления, как феодализм. По его мнению, феодальный институт в своем естественном развитии и перерождении мог бы усесться у нас в виде первого опыта к учреждениям независимости (верхняя палата), и вызвать второй, который ничем другим не мог быть, как собранием общинных представителей (Common-house). Вот, как резюмирует сам автор свою фантастическую постройку в дополнительной части программы, о которой мы говорим:

«Феодализм мог бы развиваться, как первый шаг учреждений независимости (общины — были бы второй), но он не успел... Место феодализма заступила аристократия. — Какое время силы нашего боярства? — Во время уделов, когда удельные князья сами сделались боярами. — Когда пало боярство? — При Иоаннах, которые к одному местничеству не дерзнули прикоснуться. — Были ли дворянские грамоты? — Минин! — Было ли зло местничество?.. Везде ли существовало оно? Зачем уничтожено было оно? И было ли оно в самом деле уничтожено? — *Петр*».

Другая проба высказать свои убеждения была сделана Пушкиным уже на беллетристической арене, но и тут ей не более посчастливилось, чем в первых двух пробах. Махнув рукой, после запрещения «Литературной Газеты», на проекты статей, ей предназначавшихся, Пушкин не потерял нити своей политической доктрины, а только перенес ее, спустя 3 — 4 года (1833 — 34 г.), в повести и рассказы, где она, как красная нитка, и заплеталась в ткань их романтической интриги. При печатании, однако ж, этих произведений — уже после смерти автора — места, содержавшие намеки на эту доктрину, подверглись исключению, и красная нитка только кое-где и ключьями осталась на поверхности рассказов. Понятно, что в беллетристическом изложении политическая доктрина могла обнаружить только часть своего содержания, только ту сторону свою, которая обращена была на освещение нравов общества, идей, в нем живущих и выведенных типов. Все прочее оставалось в полумраке. На творческом станке доктрина потеряла много в объеме, но неизмеримо выиграла в блеске и ценности. Набрасывая свои повествовательные отрывки, Пушкин уже становится замечательным нравоучителем, хотя и не покидает своей горячей защиты прав высшего просвещенного сословия. Уважение к предкам он считает нравственной силой, укрепляющей волю, создающей *характеры*, ставящей высокие жизненные цели, и возвышается до степени ядовитого сатирика и негодующего патриота, когда принимается обличать слепоту и пустоту русского *образованного* общества, совершенно позабывшего все свое прошлое для того, чтобы помнить только мелкие и пошлые интересы дневного существования, заниматься и питаться вопросами самого низменного свойства, и притом в таких размерах, к каким способны бывают единственно люди, живущие без идеалов. Сочувственное отношение к старине, к истории и культуре предков, лежавшее скрытно в основе всех политических теорий автора, здесь выделилось уже в пламенную речь и горячую проповедь, — и приходится сказать, что проповедь эта чуть ли не составляла и самое существенное и единственно плодотворное зерно всего его учения.

Известно, что в последнее время своей жизни поэт нередко переводил на вымышленные им лица некоторые черты собственного своего созерцания, подчас даже особенности своего характера, полученные психическим анализом своей личности и духовной природы, как было уже замечено нами прежде, при разборе его произведений и, между прочим, при изложении истории происхождения пьесы «Импровизатор», где лицо героя представляет уменьшенное отражение

нравственного облика самого автора. Другой пример прививки своих воззрений и убеждений к вымышленному лицу поэт представил в известном рассказе: «Разговор вечером на рауте». Весь этот разговор нам кажется передачей действительной беседы, слышанной автором, по всем вероятностям, в каком-либо из аристократических и дипломатических салонов Петербурга, куда он был вхож. В рукописи разговор кончается следующим местом, которое — может быть — приятно будет встретить читателям, после полувекового сна его под спудом, хотя в сущности оно представляет не более, как повторение и развитие уже известной, излюбленной Пушкинской темы. Место начинается вопросом одного из собеседников, именно иностранного *дипломата*, о русской аристократии — и завершается ответом его русского собеседника, устами которого говорит уже сам автор. Иностранный дипломат открывает беседу замечанием:

— «Вы упомянули о вашей аристократии: что такое ваша аристократия? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует, кажется. Между вашим дворянством существует гражданское равенство, и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша, так называемая, аристократия? Разве только на одной древности родов русских?»

— «Вы ошибаетесь, — отвечал он, древнее русское дворянство вследствие причин, вами упомянутых, у нас в неизвестности и составило род третьего сословия. Благородная чернь, к которой и я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократия с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники, будь сказано не в укор их достоинствам. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках спесь какого-нибудь Монморанси, первого христианского барона. Я, например, — продолжал русский — не мог бы отыскать в хрониках моего родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близ Александра Невского, были у трона Ивана IV и возвели на престол... но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Мы так положительны, что прошедшее для нас не существует: Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы выслушали его. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди-дурака или балом

двоюродной сестры. Мы на коленях пред настоящим случаем, успехом, но очарование древности, благодарность к прошедшему и уважение к нравственным качествам, у нас... — Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».

Эта горячая диатриба, направленная столько же против суетной фамильной спеси, сколько и против пренебрежения всех семейных преданий, еще уступает в выразительности и яркости другой такой же диатрибе, встречаемой в очень замечательном и, к сожалению, тоже неконченном рассказе: «Роман в письмах». Там она служит последней крупной и определяющей чертой для физиономии главного действующего лица повести, некоего Владимира Z. Это лицо, даже и в теперешнем своем виде, представляет замечательно-полный тип аристократического славянофила времен Александра I. Нигде еще Пушкин не рисовал так ярко собственного своего образа, состояния собственной своей мысли и задушевных убеждений своих, как в этом вымышленном лице, сохраняя ему все живые краски и особенности самостоятельного и оригинального характера. Приводимый отрывок находился в одном из писем романа (письмо VIII), следовал за восклицанием Владимира Z., по поводу материального настроения нашего общества («К чему ведет такой материализм? — не знаю»), и начинался еще по-французски:

«Но пора положить этому преграды. *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.* Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда: мое происхождение, хоть я его не стыжусь, не дает на то никакого права, но я, без прискорбия, никогда не мог видеть унижения наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. И какой гордости воспоминаний ожидать от народа, который пишет на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был у нас окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и был Козьма Минич Сухорукий, выборный земли русской. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

«Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упоминается имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории.

Дикость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историею своего дома, т.е. историей отечества. И это вы ставите ему в достоинство. *Конечно, есть достоинства выше знатности — именно, достоинства личные. Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные.* Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами. Я видел родословную Суворова, писанную им самим. Суворов не презирал своим дворянским происхождением».

И, наконец, в беспрестанных пробах передать свое созерцание в такой форме, которая покорила бы внимание публики — Пушкин дошел до самого блестящего выражения его в великолепной поэме: «Медный Всадник» (1833 г.), хотя тоже, за смертью поэта, не получившей окончательной отделки. Обезумевший от горя, ничтожный потомок знатного боярского рода — и современный коломенский чиновник — осмеливается укорять великого императора во всех своих несчастьях и даже посягает на угрозу перед бронзовым ликом его, в котором он внезапно открывает того человека, который лишил его фамилию гражданского значения, низвел его самого в ряды бездольного служаки и косвенно настиг, даже после своей смерти, в последнем его убежище — сердечном счастье, унесенном наводнением в основанном им Петербурге. Пушкин называет этого потомка знатного боярского рода только по имени:

Прозванья нам его не нужно —
 Хотя в минувши времена
 Оно, быть может, и блистало,
 И под пером Карамзина
 В родных преданьях прозвучало;
 Но ныне светом и молвой
 Оно забыто. Наш герой
 Живет в Коломне, где-то служит,
 Дичится знатных, и не тужит
 Ни о покойнице-родне,
 Ни о забытой старине...

Нельзя не остановиться на бессмысленной, с первого вида, угрозе, слетевшей с уст этого несчастного, под конец его речи: «Ужо тебя...» — восклицает он! Невольно думается, что в этом нелепом: «ужо тебя» — безумец выразил промелькнувшую в его голове мысль о возможности еще найти суд в потомстве и переделать приговор,

давший такую славу и значение имени грозного реформатора. Медный Всадник, погнавшийся за ним, словно угадал его тайную мысль...

Все эти идеи Пушкина теперь, по прошествии почти 50 лет со дня его смерти, не покажутся никому ни очень новыми, ни очень верными: они получили такое обобщение в последнее время, будучи подняты снова борьбой и прениями по поводу нашего земского самоуправления, и притом подвергнулись такому критическому обсуждению, что ни для кого не могут уже более служить соблазном. При том же, одна часть этого воззрения, затрагивающая важность и достоинство исторических традиций, обработана была впоследствии с силой эрудиции и диалектики, конечно превышающими все, что говорил поэт, и даже все, что он мог сказать по этому поводу в свое время. Но за Пушкиным и за Александровской эпохой, его воспитавшей, остается честь первого поднятия многих подобных же вопросов русской культуры и общественного быта.

Рано или поздно эти вопросы должны были снова явиться на свет и сделаться уже предметами серьезного разбора, ученой и многосторонней полемики, как и случилось. Разногласие по их поводу еще не кончилось, и оградить некоторые стороны Пушкинского учения от превратного толкования представляется еще и теперь необходимостью. Несомненно, что учение поэта может дать повод к важным недоразумениям, если переставить исходный пункт, от которого отправлялся автор, на другую почву. Теория, довольно похожая на ту, которую проповедовал поэт, но вдобавок требовавшая, чтобы все заботы государства обращены были на интересы одного избранного сословия исключительно перед другими, не раз уже являлась в среде нашего общества с претензиями на высокую политическую мудрость. Какую бы строгую оценку и критику ни заслуживали взгляды Пушкина, — но достоверно, что ничего общего с вышеупомянутой теорией они не имеют. Мы видели, что конечная цель всех его рассуждений была все-таки забота о народе и о доставлении ему той доли защиты и свободы в труде, каких он сам, по стечению обстоятельств и при известной тогдашней обстановке своей, добыть не мог. Направление Пушкина выходило не из кровной привязанности к боярским привилегиям, как таковым, а из сожаления о потере передовым сословием тех орудий, которые могли бы дать ему средства сослужить великую службу отечеству. Чувствуешь, что не в виде лицемерной оговорки, а из глубины души воскликнул он: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родовые». И мог ли сделать своим политическим знаменем одну тео-

рию о наследственном праве на почет, без разбора нравственных качеств лица, тот человек, который в самом разгаре аристократического одушевления своего твердо поставил афоризм «личные достоинства выше знатности». Под теорией Пушкина и многих его современников текла невидимая, но хорошо чувствуемая, горячая политическая струя, не позволившая расти вокруг себя ничему похожему на корыстный расчет, родовую кичливость или узкий эгоизм, хотя сама теория представляет много спорных сторон и является родным детищем своего времени, не знавшего еще других дорог к устранению злоупотреблений и к обновлению себя, кроме тех, которые она прокладывала в своем воображении, в области благородных мечтаний и великодушных химер.

II.

Как известно, А.С. Пушкин тотчас после свадьбы своей в Москве (18 февраля 1831 года) уехал в Петербург. Спустя две недели после того, именно в марте месяце, он поселяется на даче, в Царском Селе, и безвыездно проводит семь месяцев в хорошо знакомом ему городе. Эти семь месяцев положили основание всей последующей жизни Пушкина и должны считаться исходным пунктом новой литературной его деятельности.

Дворцы, сады и парки царской резиденции оживились к лету 1831 года прибытием двора. Вместе с ним прибыл, конечно, и главный наставник Государя Цесаревича, В.А. Жуковский. Давние дружеские связи между ним и Пушкиным затянулись еще в более крепкий узел, благодаря частым, ежедневным их свиданиям, а также и весьма серьезному настроению, которое царствовало вокруг них. Политический горизонт был мрачен, как в Европе, так и в России. Друзья сходились для того, чтобы передавать друг другу известия о тяжелом положении государства, посеченного холерой, и мысли о неудачах, затруднениях и о ошибках нашей польской кампании.

Польское восстание находилось в апогее своего развития и потребовало усилий и жертв для подавления его, сначала и непредвиденных. Втихомолку передавались печальные новости с театра войны: нерешительность действий русской армии, возрастающие надежды инсurreкции, сочувствие к ней со стороны народов Европы; за междоусобной войной проглядывала возможность большой европейской войны в близком будущем! Нравственная сторона польского вопроса особенно обращала внимание друзей в Царском Селе, так

как в ней-то и заключалось все дело. Пока большинство русского общества негодовало просто на медленность вооруженной расправы с неприятелем, обвиняя в том людей, советников и прочих, Жуковский и Пушкин всего более думали о принципе, который восстание положило в свою основу и которым себя оправдывало.

И было о чем подумать. Под знаменем нарушенного принципа народной воли и национальности, Франция, только что провозгласившая этот принцип у себя, стала почти целиком в ряды самых ожесточенных врагов России. Начавшаяся борьба двух славянских племен вызвала там в печати и на трибуне бурю ненависти, угроз и всевозможных обвинений против русского народа и правительства, — бурю, которая сообщила и ближайшим соседям России. По секрету передавались слухи об опасном положении правительств, конституционных и абсолютных, одинаково истощавшихся в усилиях сдерживать порывы своих народов, которые требовали почти в один голос переделки европейской истории и трактатов во всем, что они сказали в пользу и в интересе России. Не один Пушкин приходил в негодование от этого непомерного озлобления умов, не один он думал, что как бы ни велики были успехи нашей секретной дипломатической борьбы с направлением, — одной этой борьбы еще не было достаточно, и следовало бы вызвать на борьбу с ним голос самого общества. Как ни советовали еще последнему покрывать все яростные нападки его врагов одним горделивым молчанием, но многим, вместе с Пушкиным и Жуковским, казалось, что вмешательство общества в полемику было еще нужнее ему самому, для разрешения болезненных тревог его собственной совести и сознания, чем даже для отражения несправедливых обвинений со стороны. Конечно, выразительных слов: «бунт», «мятеж» — достаточно было для успокоения чувства законности у большинства тогдашней русской публики, но вопрос о нравственном праве употреблять силу оружия против идеи о политической самостоятельности у народа, которого много лет приучали к ней официально, — этот вопрос оставался и затем смутным для значительной части русской интеллигенции. На этот вопрос именно Пушкин и решил отвечать, противопоставляя польской идее и заграничной ее пропаганде другую идею, обнаруживавшую, по его мнению, настоящий исторический и нравственный смысл начавшейся борьбы двух родственных племен. Идея эта имела еще и то качество, что способна была оправдать меры, принимаемые для доставления ей торжества. 5-го августа 1831 года, за три недели до падения Варшавы, Пушкин написал по адресу европейс-

ких и польских врагов наших пьесу «Клеветникам России», которую можно назвать первой политической журнальной статьей, тогда написанной у нас по польскому вопросу, — и это несмотря на ее лирическую форму. Политическая мысль укрылась здесь под крыло Державинской оды и сложила тут свои зародыши, за неимением никакого другого приемника. Замечательно, что ей все обрадовались и, может быть, всего сильнее те, которые не считали возможным и нужным призывать на помощь своему делу независимый голос публицистики. Всем она даровала ключ к благоприятному толкованию смутного и щекотливого вопроса, но главная привлекательная ее сторона заключалась в том, что она как бы возлагала великую народную миссию на непосредственных, активных деятелей войны. Таким образом, настоятельная потребность минуты была удовлетворена, хотя, без сомнения, и в духе того времени. Много раз потом ссылались на мысль Пушкина, что польский вопрос представляет, по преимуществу, домашнее дело славянского мира, от поворота которого в ту или другую сторону зависит направление и будущность славянства вообще; много раз также и разрабатывали эту мысль в различных смыслах. За Пушкиным остается, в конце концов, непрекаемая честь первой попытки подложить нравственную и теоретическую основу под голый факт ненавистного столкновения двух родственных племен.

27-го августа, совершилось столь долго и нетерпеливо ожидаемое падение Варшавы, далеко не прекратившее, впрочем, как известно, развитие племенной борьбы. Пушкин приветствовал событие стихотворением «Бородинская годовщина», которое, вместе с пьесой «Клеветникам России» и стихотворением Жуковского по тому же случаю, напечатано в одной брошюре: «На взятие Варшавы, 1831 г.». Также точно напечатали они в одной и той же брошюре четыре народных сказки, сочиненные ими в Царском Селе, по уговору между собою. В это время они все делали сообща.

Более чем вероятно, поэтому, что и появлению той знаменитой пьесы предшествовал долгий обмен мыслей в дружеском кругу, который образовался около Пушкина в Царском Селе, и который состоял почти весь из лиц, приближенных более или менее к императорскому двору, а потому и знавших многие подробности и секреты политики, скрытые еще от глаз толпы. В кругу этом, между прочим, особенное покровительство и поощрение встретила мысль Пушкина основать печатный орган для отражения наговоров европейской прес-

сы. Сохранился отрывок из пробы Пушкина составить формальное прошение в этом смысле.

«У нас периодические издания не суть представители различных политических партий (которые в России и не существуют), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее, в некоторых случаях, общее мнение имеет нужду быть управляемо. Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест не оружием, но ежедневной бешеной клеветой. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны... Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет».

Не дожидаясь однако же этого дозволения и не испросив, так сказать, благословения на подвиг, Пушкин возвысил голос — и успех, как упомянуто, оказался громадный.

Проект издания политического журнала не был вовсе покинут и после появления знаменитого стихотворения, — только, благодаря толкам и советам дружеского круга, в проект замешались теперь еще другие и гораздо более обширные планы, вместе с соображениями об окончательном устройстве общественного положения Пушкина. Действительно, надо было, думали тогда, определить место, которое следует занять поэту в свете, после того как он сделался семьянином, как миновала эра молодых увлечений и фрондерства, построенных на самом снисхождении тех, кого они затрагивали. Двор смотрел на Пушкина с участием, и при всяком важном случае его жизни доказывал это участие несомненным образом, как бы приглашая поэта отыскать сферу публичной деятельности, которая позволила бы ему рассчитывать на признательность, во имя общественных заслуг и достоинства своих трудов. По мысли дружеского круга, следовало выбрать еще занятие, рядом с обычными занятиями поэзией, которые в редких только случаях давали тогда устроенное гражданское положение. Дело было нелегкое. Пушкин не хотел и слышать ни о какого рода занятиях, которые ограничивали бы его независимость, изуродовали бы его талант; или потребовали бы сделок с совестью; он предпочитал лучше оставаться по прежнему «заподозренным» человеком, чем сделаться «выборным» на подобных условиях. Друзья Пушкина разделяли его сомнения, но в поисках за лучшими поприщами для будущей его деятельности и обществен-

ной роли они пришли к заключению, что в русском мире существуют два вакантных места, отвечающих всем наиболее взыскательным требованиям совестливого труженика. Первое из этих мест могло составить удел истинного журналиста, политического писателя, «уполномоченного» разьяснять публике дух, намерения и цели правительства и отклонять от него безумные толки, легкомысленную или превратную оценку его постановлений, обнаруживая их сущность и приущие им идеи. Второе место было еще обольстительнее: оно возводило Пушкина в должность официального историка Петровской эпохи и открывало путь к занятию государственного поста историографа, не имевшего еще своего представителя с самой смерти последнего его обладателя — Н.М. Карамзина. Как ни сильно отзывались еще эти предположения романтическим и утопическим характером, но Пушкин с жаром ухватился за них: они отвечали тайным пожеланиям его собственной мысли. Он тотчас же и принялся за положение основ к их осуществлению, и не далее как в июне 1831 года подал уже просьбу генералу Бенкендорфу, в которой заявлял свое желание служить посредником между правительством и публикой, если оно того пожелает, и прежде всего заняться историей Петра I, с правом входа в государственные архивы.

Мы можем привести только черновой набросок этой просьбы. Не имея подлинника и не зная, увидит ли он когда-нибудь свет, полагаем, что и первоначальный, бледный абрис просьбы Пушкина будет все-таки любопытен для читателя. То достоверно — что при окончательной редакции автор документа сохранил большую часть его содержания. Это доказывается ссылкой на письмо в статье, принадлежащей перу высшего чиновника Третьего Отделения, М.М. Попова, который видел и самый документ (см. статью: «Алек. Серг. Пушкин» в «Русской Старине», 1874, т. X, август). Автор этой статьи цитирует из просьбы поэта, совершенно сходно с черновой подготовкой, только первое положение ее, где Пушкин жалуется на неполучение своевременно двух следовавших ему чинов и сопровождает цитату укоризненным замечанием от себя: «Знаменитый, уважаемый всею Русью, поэт печалился, что он в служебной иерархии не более, как коллежский секретарь». Тут есть, может быть, и невольное недоразумение. Пушкин, добываясь права на посещение государственных архивов, не мог забыть, что оно, во-первых, обуславливалось тогда состоянием лица на службе по какому-либо ведомству, и часто находилось, по понятиям того времени, в тесной зависимости от чина, им носимого. Вот какие побуждения управя-

ли им, когда он напоминал о служебной несправедливости, ему оказанной, а совсем не мелкое тщеславие, как говорили еще при жизни поэта многочисленные его враги из Булгаринского лагеря, которые радовались всякому случаю навязать комическую погрешку на простую и очень малочестолюбивую фигуру поэта. Но вот и самый документ:

«Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями Его В — ва, мне давно было тягостно мое бездействие. Я всегда готов служить ему, по мере моих способностей. Мой настоящий чин (тот самый, с которым я выпущен был из лица), к несчастью, *будет мне препятствием* на поприще службы. Я считался в иностранной коллегии от 1817 до 1824 г. Мне следовало за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного советника и коллежского асессора. Бывшие мои начальники забывали о моем представлении, а я им о том не припоминал. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало.

Если государю императору угодно будет употребить перо мое для политических статей, то постараюсь с точностью и с усердием исполнить волю его величества. С радостью взялся бы я за редакцию «политического и литературного журнала», то есть такого, в котором печатались бы политические и заграничные новости, около которого соединил бы писателей с дарованиями, и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению. Осмеливаюсь также просить дозволения заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не хочу взять на себя звание историографа, после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Ответ не заставил себя ждать и превзошел ожидания Пушкина. 31 июля 1831 г., ему обещано было разрешение на издание газеты, и тогда же — с явной охотой и благорасположением — дано право на посещение и изучение государственных архивов и библиотек, под руководством статс-секретаря Д.Н. Блудова. Несколько позднее и уже после того, как были написаны обе патриотические пьесы («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»), т. е. в ноябре месяце, самым неожиданным образом устроилось и официальное, слу-

жебное положение Пушкина. Его причислили к министерству иностранных дел *сверх штата*, согласно с отзывом начальников ведомства, заявивших о неимении вакантных мест в своем распоряжении; но при этом Пушкину положено было весьма значительное, по времени, содержание, по 5000 р. ас. в год, что отчасти сравнивало его со сверстниками, успевшими обогнать поэта на иерархическом поприще. Казалось, все спешили на встречу желаниям и помыслам Пушкина в Царском Селе, и самые распоряжения, которых он был предметом, носят еще явную печать сочувствия к намерению поэта связать новый, семейный период своей жизни с дельным, обширным патриотическим трудом. Оставалось пользоваться предоставленными ему выгодами и свободой — и довести постепенно оба предприятия, взятые им на себя, до блестящих результатов, какие они обещали и каких он был в праве ожидать от своего труда. Известно однако же, что оба предприятия, на пути своего развития, встретили неожиданные помехи, преимущественно в нравственном, душевном, субъективном настроении их автора, — помехи эти в короткое сравнительное время успели остановить рост Пушкинских проектов, а, наконец, и вовсе упразднить их.

Главной силой, разрушившей планы Пушкина, были именно политические и общественные идеалы его, которые не уместились в рамках, официально заготовленных для них.

Историю падения замыслов Пушкина начинаем с проекта газеты. Не подлежит сомнению, что новый политический орган, задуманный поэтом, связывался у него с воспоминаниями о «Литературной Газете» барона Дельвига. Еще в предыдущем 1830 г. Пушкин мечтал о превращении издания друга в газету политическую и заготовил даже формальную просьбу в этом смысле, часть которой уже известна публике, по выдержкам из нее, напечатанным прежде, в наших материалах для биографии Пушкина, 1855 года. Побуждения, которые он тогда выставлял на вид, требуя дополнения «Литературной Газеты» политическим отделом, значительно разнились с теми, которые теперь легли в основу его нового прошения. Тогда он говорил о материальном и нравственном ущербе, какой терпели русские писатели от монополии «Северной Пчелы», захватившей иностранные известия и пользующейся этой даровой силой для привлечения, так сказать, *невольных* подписчиков и читателей и для распространения между ними своих корыстных, часто клеветнических нападок на врагов. На материальный ущерб, наносимый целому и наиболее достойному классу русских писателей, Пушкин всего бо-

лее и налегал, предполагая, что администрация будет особенно чувствительна к охранению интересов законного труда, честного добывания людьми насущных средств к жизни. Он ходатайствовал о добавлении газеты своего друга подцензурным политическим отделом единственно во имя справедливости, восстановления нарушенных прав писателей и доставления им возможности бороться равным оружием с соперниками, которые теперь занимают привилегированное положение в обществе. Внезапное исчезновение «Литературной Газеты» со сцены журнального мира сделало ненужным дальнейшее ходатайство о расширении ее программы.

Совсем другие требования заявлялись теперь Пушкиным, и действительно, теперь у него не то стояло на первом плане. Он собирался привлечь лучшие, надежнейшие силы нашего литературного мира к общей работе по выяснению существующих порядков русской жизни, по толкованию смысла правительственных мер и распоряжений, по развитию в обществе твердых политических идей — и особенно понятий о своем достоинстве, обязанностях и роли в государстве.

В разные эпохи нашей жизни и многими даровитыми нашими людьми давно уже сознавалась необходимость выйти из тяжелого положения, какое всегда выпадает на долю общества и частных лиц, которым приходится стыдиться тех самых основ существования, которым они покоряются. Весьма честные и благородные умы, с самого начала столетия, заняты были у нас постоянно отысканием нравственного смысла в коренных учреждениях государства — думали о реформе, преобразовании тех из них, которые почему-либо потеряли прежний смысл. Либеральный консерватизм не был новостью на Руси — и причина понятна: с осмысленным и поясненным фактом современного политического быта России как будто становилось легче для совести подчиняться всем его требованиям и естественным последствиям. Той же работе разъяснения, оправдания исторического положения государства и дополнения его, по возможности, новыми элементами нравственного содержания, Пушкин намеревался посвятить, вслед за некоторыми своими предшественниками, и новую политическую газету. Здесь не мешает заметить, что мысли, которые он собирался проводить в ней, были ему самому нужны, может быть, еще более, чем его будущим слушателям и читателям: они, эти мысли, восстанавливали его морально в собственных его глазах, разрешали те *болезни совести*, которые сопровождают обыкновенно всякие перемены направлений и убеждений. Мало того — он питал еще и надежду, что идеальным представлением обязан-

ностей, лежащих на тех, которые занимают важнейшие функции в государстве, он привлечет их к высшему пониманию своего призвания и долга, чем и окажет немаловажную услугу современникам. Желая испробовать почву, на которой ему придется действовать, Пушкин представил даже рассмотрению ген. Бенкендорфа и образчики тона и приемов, в каких он намерен излагать выдающиеся события внутри империи, выбрав для этого несколько фактов из ближайшей современной истории¹. Образчики эти, отчасти взятые им прямо из записной своей книжки, не имеют ничего общего ни по языку, ни по намерению, с рутинным, приниженным и подобострастным способом сообщать полуофициальные известия, какой тогда господствовал в нашей журналистике. Пушкин или дает картинный рассказ происшествия и оставляет его говорить таким образом самого за себя, или разъясняет его, смелым словом убежденного человека. Он собирался стать русским консервативным публицистом на *свой* образец, и его надобно было еще уметь понимать, прежде чем разлагать и ценить сущность его мнений.

Мысль — доставить русской форме политического быта такое же почетное место в области теорий государственного права и политических наук вообще, какое в них занимают наиболее уважаемые и ценимые формы правлений, пришла Пушкину опять как ответ на позорящие обвинения заграничной интеллигенции. Он сделался очень чувствителен к выходкам и диффамациям западного либерализма, направленным на *всю* историю России и на общество. Ему казалось, что отыскать нравственные начала, на которых зиждется наше государство, значит — оградить честь русского ума и народного характера, участвовавших в его образовании. И нет сомнения, что большинство тогдашних писателей, на содействие которых Пушкин и рассчитывал, пошли бы охотно за ним. Кому же не было бы дорого обрести идею и моральную основу в том порядке дел, в том роде жизни, с которыми связано бесповоротно все существование каждого из них; кому не была дорога возможность хотя бы диалектически развить и публично высказать затаенные верования и надежды своей души? Да и кроме того, многие распознавали в намерениях Пушкина еще более возвышенную цель, — именно, цель создать через посредство своего органа и для обращения в публике популярное

¹ Два-три таких образчика, отделенные от материалов и документов, которыми мы пользовались в прежних биографических опытах о Пушкине, напечатаны были в «Библиографических Записках», 1859, № 5, стр. 134, 135 и след.

учение, содержащее философски высокое понимание и определение вообще государственной власти, — они и не ошибались в этом.

Под программой журнала, действительно таилась у Пушкина общественная теория, имевшая в виду доставить государственной власти санкцию мысли и свободного анализа, наравне со всеми другими санкциями, ею прежде полученными со стороны церкви, права и народных убеждений. Не трудно наметить основные черты самой теории, как они сказываются в статье Пушкина о Радищеве, в разборе книги последнего, озаглавленной: «Мысли на дороге», и как они отложились во множестве отрывков, оставшихся после поэта в бумагах его, как просвечивали в устных его заявлениях, долго сохранявшихся его семейством и друзьями.

Теория Пушкина была опять, в сущности, не что иное, как отражение патриотических воззрений В. А. Жуковского, который подчинил им своего друга тем легче, что последний носил в себе зародыш такого направления уже издавна, по свидетельству ближайших его друзей, как, напр., кн. П. А. Вяземского. Вероятно, в Царском Селе оба поэта сошлись ближе в понимании сущности доктрины, которую один из них уже и прежде наметил в бессмертных словах, сказанных им в своей записке: «*Подробный план учения В. К. Наследника*», недавно опубликованной («Русск. Старина», 1880, февраль): «Уважай общее мнение: оно часто бывает просветителем монарха; оно вернейший помощник его... общее мнение всегда на стороне правосудного государя. Люби свободу, то есть правосудие... свобода или порядок одно и то же: любовь царя к свободе утверждает любовь к повиновению в подданных» и проч.

Консерватизм Пушкина совершенно совпадал с такой исходной точкой политических убеждений Жуковского, и оба они думали совершенно одинаково о важнейших явлениях русской жизни. Все духовные стремления общества, думал Пушкин, — все его надежды и чаяния, равно как и требования материального свойства, собираются в правительстве, как в естественном своем хранилище, данном историей: Они тщательно берегутся там до тех пор, пока с наступлением срока, переработанные долгой мыслью и в совете с лучшими умами страны, выходят опять на свет в образе учреждений, в форме создания новых и восстановления старых прав, — возвращаясь, таким образом, снова в народ, но уже становясь ступенью в его прогрессивном развитии. Нет ни стыда, ни унижения беспрекословно подчиняться такой чуткой власти, как бы, впрочем, она ни называлась: абсолютной, патриархальной, деспотической и т. д. Вот в крат-

ких словах сущность консервативной черты Пушкина, которая породила известные его заявления в том же духе, часто останавливавшие на себе внимание его современников и последующих его ценителей, и которую он собирался развивать в новом своем органе.

Здесь необходимо сказать, что примеры иногда весьма оживленной критики заведенных порядков и официальных мероприятий, которая почасту встречается в записках и в корреспонденции Пушкина от этого времени, нисколько не свидетельствуют об его измене своим убеждениям. Напротив, он чрезвычайно дорожил новыми нажитыми убеждениями даже и после того, как принужден был отказаться от публичной их защиты. Можно доказать фактами, что всякий раз, как грубые толчки и удары со стороны реального мира нарушали стройность его консервативной теории, колебали её основания и грозили потрясти веру в ее положения, он глубоко возмущался и спешил с горячим обличением всех тех, которые делом и примером своим поднимали на нее руку. Он становился в это время не только раздражителен и дерзок, но и глубоко несчастлив, — словно целость и неприкосновенность теории была ему необходима для возможности собственного существования, спасала его самого от большой умственной и нравственной беды.

Сложнее представляется на вид, с первого раза, другой вопрос, неизбежно идущий вслед за первым. Что же сделалось теперь у Пушкина с его темами о важности передового сословия в государстве, о призвании аристократии служить надежным посредником между народом и правительством, и с другими темами подобного рода? Как помирил он новую свою консервативную теорию с прежней, которую никогда не покидал совсем, и которой придерживался, как известно, еще в 1835 году, то есть почти накануне смерти? Ответ на вопрос не так затруднителен, как он сначала кажется. Противоречие между двумя учениями при ближайшем рассмотрении сводится на простое недоразумение между двумя однородными силами, которые всегда склонны к компромиссу и примирению. На *теоретической* почве особенно противоречье легко сглаживается. Не трудно было возвести, например, Пушкину, хотя он никогда не занимался философскими выкладками, оба принципа к высшему единству, и с помощью разных аналогий и диалектики самым естественным образом представить противоположные свои начала составными частями одного и того же целого, одного и того же общественного идеала, весьма способными к совместной жизни. Так именно и случилось с Пушкиным. Враждебные по натуре элементы свободно приютились

в его мысли и мирно процветали в ней рядом друг с другом, взаимно ограничивая и умеряя себя и представляя зрелище теоретической гармонии, какое редко дают те же элементы, когда они произрастают на реальной, исторической почве.

Но каковы бы ни были отношения Пушкина к обоим своим учениям, — несомненно, что для публичной их защиты в журнале требовался некоторый простор мысли, некоторая свобода в оценке явлений и право свободного критического разбора тех из них, которые могут затемнять светлый лик поставляемого на вид идеала. Это было, может статься, еще необходимее для позднейшей консервативной теории, чем для первой, либерально-олигархической, которая, нося на себе слишком явно фантастический характер, ни в каких особенных заботах и предосторожностях не нуждалась. Другое дело — учение о государственной власти. Нельзя же было, в самом деле, призывать публику к лучшему пониманию своего быта, хлопотать о поднятии уровня политических идей в обществе, проповедовать спасительные, ободряющие и укрепляющие истины, употребляя то же самое, полувнятное, пошлое бормотание, которое служило тогдашней печати при передаче ею внутренних и внешних событий. Для успеха распространения новых философско-политических начал между образованными людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобие мужественной речи, нечто похожее на одушевление человека, проникнутого своим предметом, и желательно было действие бодрого слова, сбросившего с себя старую, обветшалую и изношенную оболочку. Но тут-то и встретились затруднения. Генерал Бенкендорф, заведовавший ходом и направлением общественной мысли и никогда особенно не доверявший благонадежности писателей и журналистов, не нашел и теперь достаточных причин для какого-либо изменения цензурных обычаев времени в пользу нового издания. Он думал, что, испробованный и освященный употреблением, способ понимать и излагать предметы политического характера — совершенно достаточен для русского общества и отвечает вполне всем умственным его запросам. К этому присоединилось у него закоренелое убеждение, что все, слишком возвышенные цели, поставляемые себе русскими людьми и все крупные их замыслы, выходящие за черту общего уровня дел и понятий, служат им только удобным способом скрывать тенденциозные намерения весьма сомнительного свойства. Он и не замедлил обнаружить вскоре эту часть своих убеждений самым недвусмысленным образом.

В 1832 г. „явился альманах «Северные Цветы», изданный Пуш-

киным и его друзьями в пользу семейства покойного барона Дельвига. В этом сборнике статей, Пушкин поместил превосходное свое стихотворение: «Анчар — древо яда», которое и сделалось поводом довольно неприятной для автора истории. Под предлогом, что пьеса его, беспрекословно дозволенная к печати обыкновенной цензурой, не была предварительно послана на обсуждение верховной цензуры, как требовал того порядок, генерал Бенкендорф упрекал Пушкина в измене принятым на себя обязательствам, в нарушении честного слова и в обмане. Замечательно, что надзор, молчаливо терпевший доселе подобные же, довольно многочисленные уклонения Пушкина от правила — восстал теперь с горячим обличением и притом в такой форме, которая показалась слишком резкой Пушкину, так что он долго не мог забыть ее и вспоминал еще о ней с горечью, спустя четыре года, в письме к жене из Москвы, в 1836 г., когда состоял уже четыре месяца редактором журнала «Современник»: «Брюллов сей час от меня едет в П.-Б., скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а, между тем, у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. *Будучи еще порядочным человеком*¹, я получал уже полицейские выговоры, и мне говорили: *Vous avez trompé*, и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело — нечего сказать²»

Пушкин, разумеется, принялся тогда отписываться, ссылаясь на прежние примеры и представляя новые доводы в свое оправдание. Он мол не хотел мелкими произведениями своей музыки похищать время сильно занятых государственных людей, а все крупные произведения свои неотложно представлял на их рассмотрение и обсуждение и проч. Но, вместе с тем, он очень хорошо понимал, что сущность дела заключается совсем не в нарушении установленных правил относительно появления в свете его стихотворения, а в характере и содержании самой пьесы. Сопоставление различной участи раба и князя, действующих каждый по законам своего положения и призвания, показалось надзору отдаленным политическим намеком. Единственное объяснение несоразмерной с проступком живос-

¹ То есть, еще не облеченный формально в звание издателя политической газеты, как предполагалось сделать, в 1832 г. после опубликования программы и условий подписки.

² См. «Вестн. Европы» 1878, март, стр. 38.

ти и бесцеремонности упреков приходилось искать в досаде надзора на то, что подобные сомнительные и опасные мотивы поэзии могут еще встречаться под пером автора, после всех благодеяний, на него излитых. А, между тем, пьеса Пушкина не имела ничего преднамеренного и целиком вылилась, без всякой примеси, из одного его поэтического созерцания людей и природы. Все это заставило крепко призадуматься Пушкина. Если по поводу небольшого стихотворения, чуждого всяких намеков и посторонних целей, могли отродиться такие вспышки гнева и негодования, чего же можно было ожидать впредь для будущей газеты от подозрительности надзора? Бодрость Пушкина не устояла при мысли, что ему предстоит каждодневно садиться на скамью подсудимых и разъяснять непонятые надзором слова и фразы. Он упал духом. Когда московские его друзья, обрадованные известием о приобретении им печатного органа в свое распоряжение, просили его о программе и выражали самые сангвинические надежды на успех журнала, Пушкин поспешил охладить их настроение. Насмешливо и с досадой писал он им: «Какую программу хотите вы видеть? часть политическая — *официально* ничтожная, часть литературная — *существенно* ничтожная: известия о курсе, о приезжающих и отъезжающих — вот вам и вся программа... Я хотел уничтожить монополию и успех. Остальное мало меня интересует. *Газета моя будет немного похуже «Северной Пчелы».* Угождать публике я не намерен, браниться с журналами хорошо раз в пять лет, и то — Косичкину, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой: на то проза-мякина»...

Черновой отрывок любопытного письма, здесь приведенный, доказывает, что поэт не сразу отказался от намерения редактировать газету, хотя ясно прозревал, какая будущность ей предстоит. Но прошло немного времени, и невозможность дать свое имя изданию, которое должно было оказаться, по условиям существования, его ожидавшим, *немного похуже «Северной Пчелы»*, как он выразился, уяснилась ему вполне. Когда пропали из вида высокие цели и намерения, лежавшие в основании первоначального проекта, какая была надобность еще цепляться за него и посвящать ему свой труд. Пушкин принял намерение сдать обузу дальнейшего ведения постылого предприятия первому человеку, который согласился бы принять на себя роль подставного издателя. Он вскоре и нашел такого человека, да притом так обрадовался своей находке, что порядочно не разузнал и фамилии заместителя. В переписке с женой он постоянно

называл его «Отрыжковым», а, между тем, это было довольно известное и типическое лицо петербургского мира: статский советник, Наркиз Иванович *Тарасенко-Отрешков*.

Н.И. Отрешков успел составить себе репутацию серьезного ученого и литератора по салонам, гостиным и кабинетам влиятельных лиц, не имея никакого имени и авторитета ни в ученом, ни в литературном мире. Он прослыл агрономом, политико-экономом, финансовой способностью, не соприкасаясь с людьми науки и не выходя на арену публичности. Вероятно, в одном из петербургских салонов Пушкину и указали на Н.И. Отрешкова, как на образцового и дельного сотрудника по журналу. Отрешков не усомнился взять в свои руки газету, сделавшуюся предметом мук и отвращения для ее основателя, и вести ее без признака редакторской способности, без литературных связей в обществе и без капитала, нужного, чтобы поставить на ноги сложное предприятие. Пушкин не хотел ни во что вмешиваться. Вышло то, что должно было выйти — переговоры длились и ничем не кончились. Когда позднее, и уже после смерти Пушкина — один из многочисленных покровителей Отрешкова — граф Г.Г. Строгонов, назначенный председателем в опеке по делам Пушкинской фамилии, ввел Отрешкова, вслед за собой, и в опекунскую комиссию, он играл в ней весьма значительную роль. Под непосредственным наблюдением Отрешкова печаталось посмертное издание «Сочинений Пушкина», удивившее даже и тогдашнюю, не очень взыскательную публику, своей беспорядочностью, и он же предлагал, для устройства материального положения семьи Пушкина, меры, которые, без щедрот государя, выпавших на ее долю, конечно, не обеспечили бы прочно ее будущности к существованию, как это случилось. По окончании ликвидации долгов и имущества умершего поэта, Отрешков собрал бумаги, прошедшие через его руки, в течении довольно долгого процесса этого разбирательства, и принес их в дар императорской Публичной библиотеке. Там, в числе других документов, можно видеть и схематическое изображение наружного вида газеты, которую он брался издавать. Это — пустой лист бумаги, расчерченный пером на несколько отделов с оглавлениями: — Внутренние известия, внешние известия и т.д. Вот все, что осталось на свете от газеты и от политической *идеи* Пушкина.

Несколько более сохранилось документов и свидетельств от другого замысла Пушкина — написать историю Петра I, который тоже не осуществился, как и первый, но с тою разницей, что погасал уже медленно и постепенно, с ходом самых работ историка.

С необычайным рвением принялся Пушкин, особенно летом 1832 г., за разбор и чтение документов, касающихся царствования Петра I в государственном архиве, являясь туда каждодневно пешком с Черной речки, где жил. По первым же собранным материалам, он приступил к составлению текста, к спокойному, стройному повествованию о жизни и эпохе государя, точно предварительная критическая разработка свидетельств была уже кончена автором; за то, позабывая вначале, она явилась после в середине труда и расстроила его. Пушкин сам почувствовал, что прямое изготовление исторического текста после беглого взгляда, брошенного на данные, из которых труд должен вырастать — есть дело весьма преждевременное. Почти на каждой строчке своего повествования, он встречался с сомнением или относительно достоверности источника, откуда взят был описываемый факт, или относительно правильной постановки и освещения его. Все такие сомнения он обозначал вопросительными знаками в рукописи и — текст повествования покрыт такими знаками. Они указывали, где должна была произойти новая проверка данных и новое исследование их, в дополнение упущений первоначального поверхностного обзора. Несколько примеров Пушкинского исторического рассказа, пересеченного во всех направлениях такими предостерегающими знаками, и нарушающими как течение его, так и внимание и доверие читателя — собраны были нами в материалах для биографии Пушкина в 1856 г.

Историк однако ж продолжал упорствовать в намерении изготовить сперва текст сочинения для того, чтобы впоследствии разрушить его критической проверкой, и довел свою работу до 1689 года — провозглашения Петра единодержавным правителем государства. Тут он остановился, вероятно, потому, что дальше и нельзя было идти в этом направлении: масса преобразовательных мер монарха, требовавшая настоятельно классификации и тщательного разбора, загромождала дорогу. Пушкин переменял манеру труда; он отказался от эпического рассказа и заменил его самым кропотливым подбором, в хронологическом порядке фактов и указов царствования за каждый год, сопровождая выписки свои примечаниями для памяти, с целью, по всем вероятностям, воспользоваться теми и другими, когда достаточное количество собранного материала позволит приступить к составлению уже настоящей истории.

Вот эти именно примечания Пушкина к указам и событиям эпохи преобразователя — и тон, в котором почасту излагаются они, и составляют единственную существенную часть всего его труда. В

них обнаруживается тайная мысль историка, — та самая, которая неотступно преследовала его и прежде, и которая теперь помешала ему довести до конца свое предприятие и написать задуманную книгу — несмотря на весь его талант и на все его трудолюбие.

Чем яснее восставала перед ним картина деятельности Петра, благодаря самому предпринятому сборнику, тем сильнее укреплялось у Пушкина старое представление о гениальном императоре, как об олицетворении страшной бури, одинаково сметающей перед собой, без выбора и сожаления, все, что ей встречается на пути до тех пор, пока не истощится сама собой ее природная, феноменальная сила. Завзятому типу людей Александровской эпохи, каким был Пушкин, казалась тяжелой ношей даже и благодарность за великие отечественные подвиги, если они совершены с помощью крутых и нравственно-оскорбительных мер. Еще менее расположен был Пушкин, по личному характеру своему, оправдывать реформы, которые шли наперекор некоторым существенным народным особенностям, и возмущался ими, когда они не оставляли в покое частного, безвредного убеждения, или грубо затрагивали наивные, простосердечные верования. Большое расстройство в сознании Пушкина внесено было соображением, что *не вся правда* целиком, и при всяком случае, стояла на стороне грозного реформатора, а между тем меры, какие он принимал для доставления торжества своим ошибкам и погрешностям, ничуть не уступали в энергии и беспощадности мерам, с помощью которых он осуществлял и свои великие предназначения: люди гибли, положения уничтожались, общество колебалось уже в пользу явной исторической невозможности, чему свидетельством остался закон о престолонаследии и друг. Сквозь призму своего установившегося воззрения на Петра I Пушкин видел или думал, что видит, двойное лицо — гениального создателя государства и старый восточный тип, «бича божия». Рука Пушкина дрогнула. Уже много накопилось материалов для истории в его сборнике и ждало только обработки, а он все не приступал к ней. Он искал способа изобразить лик великого государя согласно со своим собственным пониманием его, и не оскорбляя официального мира, ожидавшего безусловной апофеозы преобразователя, для чего собственно и были открыты ему государственные архивы. Пушкин так и умер, не отыскав способа примирить эти два совершенно противоположные требования, и все продолжал еще собирать материалы, как будто от количества их ожидал совета, помощи и вдохновения в этом деле.

Большая часть заметок и примечаний Пушкина, на которых мы

основываем выводы, здесь изложенные, отличаются чрезвычайно живым, критическим характером. Известно, что посмертное «Собрание сочинений Пушкина» издавалось, по воле государя, почти без участия цензуры; но, прилагая к изданию свою обычную пометку о дозволении печатать (май и июнь 1840 г.), цензура все-таки заявила мнение о совершенной невозможности открыть право свободного обращения в публике многим циническим приговорам и заключениям автора. Места эти и были выпущены по ее настоянию, лишив остальную часть труда почти всякого интереса. Для оправдания цензуры того времени в этом случае достаточно сказать, что, по запальчивому тону и крайне резкому выражению мысли, заметки Пушкина и теперь, по прошествии почти 50 лет со времени их составления, подходят скорее на ожесточенные тирады озлобленного человека, чем на вопросы и сомнения ученого. Выбираем из ряда Пушкинских заметок наиболее удобные для сообщения публике понятия об их общем характере:

«1711 — 1714 г. У князя Меншикова на фейерверке на щите надпись: *«Где же правда, там и помощь божия»*; однако Бог помог не нам. В сие же время издан тиранский указ о запрещении во всем государстве каменного строения. — 1715. Петр опять издал один из своих жестоких указов: он повелел приготовить юфть по новым способам, по обыкновению своему, угрожая за слушание кнутом и каторгою. — 1718. Приказывает юфть для обуви делать не с дегтем, а с ворванным салом, под страхом конфискации и галер, как обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра. — 1721. Указ о возвращении родителям деревень, принадлежащих им и невинным их детям, также и о платеже заимодавцам. NB. Сей закон справедлив и милостив, но факт из коего он проистекает — сам по себе, несправедливость и жестокость. От гнилого корня отпрыск живой. — 1721. Сенат и синод подносят ему титул Отца отечества, Всероссийского императора и Петра Великого. Петр не долго церемонился и принял его. Сенат (т.е., восемь стариков) прокричали: *vivat!* Петр отвечал речью гораздо более приличной и рассудительной, чем это все торжество. — 1722. Петр был гневен. Дворяне не явились на смотр. Издал указ, превосходящий варварством все прежние. — 1722. Манифест о праве наследства, т.е. уничтожил всякую законность в порядке наследства, и отдал престол на произволение...»

И так далее. Наиболее резким словом отличаются заметки, касающиеся женитьбы Петра на Екатерине магдебургской; процесса царевича Алексея, где встречается такое утверждение: «Петр хвас-

тался своей жестокостью», процесса несчастных Монсов и обстановки, сопровождавшей смерть реформатора.

Значило ли все это, что Пушкин не обладал надлежащим органом для понимания великой государственной стороны в деятельности Петра I, что он лишен был способности чутья и распознавания великих идей, управляющих поступками гениальных людей? Далеко от этого! Понимание величия задачи, поставленной себе преобразователем, и благоговение перед силой и ясностью, с которыми он проводил ее в народе, Пушкин обнаруживал не раз в течении своей поэтической деятельности. Он не выдержал только восторженного настроения своих стихотворений, посвященных имени Петра, когда ближе подошел к жизненным подробностям его царствования и услышал, так сказать, вопли жертв и шум развалин, падавших под ударами преобразователя, расчищавшего дорогу новому порядку дел и новым идеям. Художническая натура Пушкина мешала ему сделаться трезвым историком. Ему недоставало сухости воображения, необходимой для того, чтобы хладнокровно взвешивать и определять цену роковых событий, не чувствуя страшной, раздирающей драмы под ними, и не смущаясь ею, когда она выступает наружу. Поэтическая способность переноситься всецело в дальние эпохи и жить с ними, как бы в качестве их современника, мешала ему исполнять обязанности историка. Он слишком любил побежденных и проигравших свое дело, слишком возмущался, когда победители кичливо предавались торжеству, хотя бы последнее было вынесено самым историческим ходом дел и необходимостью. В числе его замечаний находится одна, весьма важная, которая показывает, что он рад был встретиться на пути своих исследований с соображениями, которые открывали ему возможность войти в роль беспристрастного судьи и резонера гораздо полнее, чем он делал это доселе:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды *ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости*; вторые — нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего; вторые — вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика.

«NB. Это внести в историю Петра, обдумав».

Итак, вот та твердо поставленная программа, из которой должен был у Пушкина возникнуть образ великого монарха. Сам собой

рождается при этом вопрос — была ли возможность этой программы, по времени, осуществиться на деле? Прежде всего тут бросается в глаза несколько искусственное деление цельной фигуры преобразователя на две части, имеющие каждая свое особенное выражение. Очень много возражений способно вызвать такое предполагаемое раздвоение политической деятельности у Петра I, так как источник ее, при всем ее разнообразии, был один и тот же — сознание могущества самодержавной власти, вера в дело, заботливость о будущем государства, непреклонная воля. Все это уравнивало перед лицом реформатора все сферы общества и администрации и клало одинаковую печать на все его распоряжения, великие и малые, без различия. Государственные учреждения, несмотря на свое коллегиальное устройство, следили за всяким настроением учредителя и предупреждали его, не веря в свою самостоятельность; в частных, хозяйственных предписаниях могущественного «помещика» легко усмотреть не малую долю благожелательства и мудрости, несмотря на их жестокую форму, которая так возмущала Пушкина. Но оставляя в стороне этот вопрос, следует остановиться еще на другом. Если бы Пушкину и удалось силой большого таланта провести искусно и счастливо параллель своей программы в историческом изложении — кого бы она удовлетворила? — Большинство публики и весь официальный мир ждали от поэта просто лучезарного лика Петра I и, конечно, возмущались бы всяким ярким пятном, которое бы на нем приметили; с другой стороны, даже и позволение на самый осторожный и необходимый, по существу дела, ввод теней в образ монарха Пушкин принужден был бы покупать ценою едва внятных намеков, полутокровений, недоговоренных мыслей, что лишило бы его труд всякого наукообразного значения в глазах сведущих и компетентных судей. В виду разнообразных и одинаково настоятельных требований, успех историка становился сомнительным, какую бы дорогу, впрочем, сам автор ни выбрал. При таких условиях труда, естественно, что он должен был остановиться у Пушкина — и остановился действительно.

Как бы предчувствуя свою неудачу, Пушкин успел открыть для себя в архивах побочное дело, которое утешило его отчасти за медленный ход главной работы. Часто случается, что исследователь, свободно и доверчиво допущенный ко всем сокровищам богатого книгохранилища, знакомится там с документами, не касающимися прямо его предмета, но в высшей степени интересными. Таким документом, завладевшим всем вниманием Пушкина, оказалось дело о Пуга-

чевском бунте: оно сразу пробудило в нем производительную энергию, которая дремала за составлением все разраставшегося сборника петровских указов и крупных черт его жизни и примечаний к ним. Правда, что это второстепенное, побочное дело прямо перенесло Пушкина в сферу творчества, в ту сферу, где он был полным хозяином и господином своего таланта. Выписывая официальные данные о Пугачевском бунте и переделывая их в простой, чрезвычайно сдержанный и строгий рассказ — Пушкин в то же время воплощал дух эпохи и представлял картину события и жизненные его подробности в мастерском романе, — известной «Капитанской дочке». Эта образцовая историческая повесть зачалась в архивной пыли, выросла на донесениях, промемориях, следственных процессах, снятых ее автором с молчаливых полок, где они так долго покоились, а закончилась в одной из уральских станиц, куда в следующем 1833 году Пушкин отправился через Казань, Симбирск и Оренбург для проверки и осмотра места действий, как своего романа, так и своей истории. Эти близнецы назначены были пополнять один другого.

Историю Пугачевского бунта, которую озаглавить Пушкин хотел первоначально народным, генерическим прозвищем всей эпохи: «*Пугачевщина*», нельзя назвать в настоящем смысле слова историей. Это скорее дельная, хорошо составленная *докладная записка*, назначенная для быстрого ознакомления с предметом читателя, который бы поинтересовался им, — чем и объясняется ее хладнокровный, чисто объективный и невозмутимый тон, который так восхищал друзей поэта, и, между прочим, Н.В. Гоголя, когда она явилась в печати. Все краски, бытовые подробности, вся живость изображения этой русской «жакерии» выпали на долю «Капитанской дочки». Известно, каким изяществом постройки она отличается, каким добродушным юмором веет от описания патриархальных порядков того времени и создания типических характеров в духе эпохи...

Роман и историческая записка составили как бы отдых для Пушкина, явились чем-то в роде его *междуделия*, которое однако же еще сильнее напоминало ему самому и всем другим о главной задаче, за ним еще числящейся. Первенствующий его труд не подвигался вперед, даже собственно говоря не начинался вовсе, а нетерпение публики видеть первые его всходы росло с года на год. По рассказам приближенных Пушкина, его особенно тревожила мысль, что долгие сборы его на заложение фундамента истории — будут приписаны, пожалуй, отвращению к герою ее, могут показаться бегством

с поля сражения, или, что еще хуже, дадут повод подозревать его в преднамеренном обмане... Пушкин никогда не терял надежды найти выход из раздвоенного психического состояния, в каком находился по отношению к личности Петра I. Он продолжал свои работы, и еще в предпоследний год своей жизни (1836) уехал в Москву и провел несколько месяцев в тамошнем архиве М-ва Иностранных Дел. Но это было уже только поиском дополнительных сведений, потому что главные подготовительные работы были кончены еще в прошлом 1835 г., как оказывается из подписи на последней странице его сборника материалов: «15 декабря 1835».

Заканчивая наш опыт передачи, по неизданным документам, политических и общественных идеалов Пушкина, не можем обойтись без последней заметки. Идеалы поэта могут показаться теперь несостоятельными в своей сущности, построенными на данных, чуждых русской жизни; утопический, мечтательный их характер может быть обсуждаем и осуждаем более или менее строго, а научная сторона их — не выдерживать поверки и проч.; но человек, имевший подобные идеалы *пятьдесят* лет тому назад, останется вне приговоров и заключений, какие бы ни делали о его ученых и теоретических взглядах. Он всегда останется тем, чем был при жизни — представителем типа гуманного развития в свою эпоху, примером человека, который, при всех обстоятельствах, сохранил живое гражданское чувство, и всю жизнь обнаруживал неустанную энергию в проповеди справедливых, честных отношений между людьми, за что и подвергался часто обвинению в беспокойном либерализме, — который, наконец, всею душою постоянно желал для своей родины умножения прав и свобод, в пределах законности и политического быта, утвержденного всем прошлым и настоящим России...

Май, 1880 г.